



МАРИЯ РЫБАКОВА

ГНЕДИЧ

роман

Мария Рыбакова

Гнедич

«WebKniga»

2011

Рыбакова М.

Гнедич / М. Рыбакова — «WebKniga», 2011

«Гнедич» – новый и неожиданный роман Марии Рыбаковой. Бывает, что поэты с годами начинают писать прозу. Здесь совсем иной, обратный случай: роман в стихах. Роман – с разветвленной композицией, многочисленными персонажами – посвящен поэту, первому русскому переводчику «Илиады», Николаю Гнедичу. Роман вместил и время жизни Гнедича и его друга Батюшкова, и эпическое время Гомера. А пространство романа охватывает Петербург, Вологду и Париж, будуар актрисы Семеновой, кабинет Гнедича и каморку влюбленной чухонки. Роман написан в форме песен – как и сама «Илиада».

© Рыбакова М., 2011

© WebKniga, 2011

Содержание

ПЕСНЬ ПЕРВАЯ	5
ПЕСНЬ ВТОРАЯ	12
Конец ознакомительного фрагмента.	13

Мария Рыбакова

Гнедич

ПЕСНЬ ПЕРВАЯ

Гнев, убивший столь многих,
несчастный гнев Ахилла,
ибо он знал, что погибнет,
погибнет молодым,
а он, Гнедич, умрет одиноким
и тоже, наверное, молодым.
(Так даже лучше – потому что иначе:
одинокая старость —
говорят, это хуже, чем одинокая молодость,
хотя если тебе было нечего есть,
и ты сидел каждый вечер один,
а когда у тебя появлялись деньги,
ты шел в бордель, и женщины шарахались от тебя,
но потом привыкали,
ибо ты был добрым
и грустным – и жизнь проходила, где каждый день
был смерть.)

Гомер говорит: молодость страшна всегда,
а память о ней – страшнее всего.
Пой, богиня, это ваши забавы —
наши горести петь, наша боль – ваша слава,
но когда ты приходишь ко мне,
притворяясь актрисой,
я согласен страдать, говорил Гнедич,
и смотрелся в зеркало одним глазом.
Он видел
в темном отверстье стекла
то циклопа, то героя-любownika,
то Гомера, то вдруг совсем никого,
лишь мебель и чахлую свечку
(даже руки не было, которая ее держала),
мюри алге, множество боли,
тысячи бедствий, многия печали,
алгос есть боль, алгео – я страдаю,
но по-гречески даже страдания хороши,
а по-русски – ничего кроме боли.

Боль на мне выбита
(говорит Гнедич),
и теперь все читают: не подходите к нему,
не любите его, но жалеите,

даже если ему не нужна ваша жалость.
Множество сильных душ он бросил в невидимый мир...
Кто? Ахилл. Не будем отвлекаться
(стук копыт за окном; пронзительный голос торговки)
в мрачный Аид – бог и место – невидимый бог,
ибо мертв тот, кто невидим
и тот, кто боится, что на него посмотрят,
и тот, на кого бояться смотреть,
и тот, чье отражение
даже зеркало
предпочитает сморгнуть, как слезу,
чтобы оно не застилало мир
совершенный и вечный.

Души в Аид, а тела
бросил собакам и птицам-стервятникам.
так нас после смерти разделят,
как мясник на базаре —
души туда, тела сюда
(и то и другое – мрачно).
мое лицо было красиво, говорит Гнедич,
а потом стало уродливо,
моя же душа,
я не знаю,
подозреваю, что невидима,
и потому, наверно, мертва,
но – совершается Зевсова воля,
моя жизнь просчитана, моя смерть
назначена. Любовь не выпала мне по жребию.
Слава не выпала. Только слова —
греческие – мне достались,
чтобы я переплетал их с русскими.

он часто думает про дочь Хриса, без имени,
за которой пришел отец и которая исчезла
вслед за отцом, не промолвив ни слова,
чтобы больше не появиться и ни с одним героем
больше не видеться. Эта, без имени, дева,
принадлежит отцу, а тот принадлежит Аполлону,
все они в прозрачном шаре, где есть только преданность,
только почтение, только молитва.
Она, сойдя с корабля, пропадает
в руках у отца, как выцветают обои,
как осыпаются стены, как испаряется влага,
без страсти, без имени.
Если бы он мог вот так же
стереть себя с горизонта
без боли...
Но нет, он прочерчен, он выцарапан, он выбит,

как буквы на мраморе.
Поднести себя к зеркалу,
чтоб попытаться прочесть,
но ничего не понятно,
нет на меня архивариусов.
(Он улыбается и завязывает
шелковый шарф вокруг шеи.)

Старец идет по кромке
многошумного моря
полюфлойсбос,
где валы на песок набегают с плеском,
с пеной, с грохотом – и шипя отползают:
он безмолвный идет по берегу
немолчношумящей пучины.
Море не слушает человека,
а человеку кажется,
что он понимает язык,
на котором с ним разговаривает
вода.

Каждый раз, когда от нее приносили записку,
он искал слово «твоя».
Бог мышей, исполни мою просьбу —
дай ей полюбить меня!
(Ничего не отвечает бог мышей,
только тихо скребется в углу
и шуршит обоями
по ночам.)

В театре бродят тени актеров
в Трояде бродят тени героев
в душе бродят тени слов
пока ты спишь, она тебя любит,
Гомер с тобой разговаривает, вы оба зрячи,
вы оба живы, и жизнь прекрасна
(но, просыпаясь, герои плачут,
а призраки тают).

Когда болезнь прошла, ему еще долго
не давали увидеть себя в зеркало,
а он был так рад, что выздоровел,
потому что очень уж мрачны пространства,
по которым тебя водит бред,
даже если тебе только двенадцать.
он не помнит, чтобы там цвели тюльпаны,
чтобы текли реки забвения,
помнит только серый воздух,
как будто вся земля была в тучах,

а неба не было. Когда он проснулся
и стал одним глазом ловить свет,
что лился в окно
меж узорчатых занавесок,
и слышал, как закричал петух и как залаяли
празднородные псы, ах, как он хотел обнять
их всех!
потому что там, в сером безнебном воздухе,
никого рядом не было. Ни кур, ни кошек,
ни Авдотьи, ни теплого молока,
ни даже паутины, трепещущей,
когда открывают форточку,
совсем-совсем ничего: только он один,
а так разве можно – в двенадцать лет —
совсем одному —
и там?

Потом он понял, что стал чудовищем.

Мы ходили к гадалке, – говорил Гнедич,
но мне она совсем ничего не сказала,
ръен дю ту (прибавлял он
на плохом французском).
Раскладывать карты, или жечь воск,
или читать линии на ладони,
или по птицам в небе угадывать, что будет,
или переворачивать в блюдце кофейную гущу,
или толковать сны – ничего не выходит.
У меня нет будущего.
Же нэ кюн ливр (у меня есть только книжка):
с детства любимая «Илиада».
Я прочел ее уже после болезни,
мне не хочется вспоминать, каким я был – до
(но, слышал, я был пригожим ребенком,
которого все любили; играл на воздухе
все больше с детьми крестьян,
и бегал быстрее всех. И кричал громче).

Печальная дева отходит с другими,
всегда отходит.
Верный друг Батюшков говорил:
дева всегда ускользает,
за это мы их и любим,
они как вода,
но не утоляют жажды,
мы смотримся в них, чтобы увидеть
свое отражение – и себя в них любим,
и радуемся, не зная,
что этот темный и страшный омут

может нас затянуть.
(Бедный безумец, как он знал свою жизнь,
даже когда все уже было потеряно;
говорил: я шел, я нес на голове сосуд,
наполненный драгоценностями,
сосуд упал и разбился,
что в нем было – кто уж теперь разберет!
и отворачивался к стене,
на которой видел горы, долины, реки,
поля сражений, развалины городов,
лица погибших товарищей,
потому что время стало одной сплошной стеной
в его комнате,
и штукатурка на этой стене осыпалась.)

Брисеиду уводят, потому что Ахилл ее отпускает.
Он безмолвен, она безмолвна.
Позже Овидий угадает обиду,
он скажет ее губами: как ты мог меня отпустить?
и заплачет.
Но у Гомера достойнее: оба молчат,
нет ни сцен, ни признаний.
Моя спрятанная любовь, говорит Гнедич,
даже если все угадали,
я промолчу; может быть, она
полюбит мое молчание —
если не полюбила голос.
(Детские сказки: чудище пряталось, пряталось,
только голос давало слышать,
и когда замолкло, душенька его полюбила, —
когда замолко, не раньше,
когда погибло.
Если зерно не умрет, то останется одно,
а если умрет, его полюбят, —
вот о чем, оказывается, говорил священник.
я всегда подозревал, что во всех этих историях
есть какой-то смысл. Помню, в Полтаве,
когда батюшка Пафнутий бывал очень пьян
и во время службы плакал большими слезами,
он говорил совсем-совсем правду,
был как пророк, и мы все боялись.)

Видел ли ты когда-нибудь море,
бесконечное, похожее на вино темнотой,
простирали ли ты руки к пучине,
вызывая мать? Она поднимается дымкой
над серой водой (Батюшков и Гнедич
сравнивали воспоминания. Их было мало.
В одном они соглашались: богиня не может

долго прожить со смертным, она уходит
туда, где русалки, и тени, и матери.
После смерти женщины становятся воздухом,
говорил Батюшков,
а мужчины – землей. Гнедич с ним соглашался,
но думал: если она меня вдруг полюбит,
может, я тоже стану – воздухом?)

Когда были совсем молодыми – жалели,
что матери их не видят,
потому что и счастье, и слава, и женщины были
почти в руках,
а позже надо было радоваться,
что матерей больше нет
и они не заметят ни душевной болезни, ни как
человек становится приложением
к письменному столу
в департаменте или в библиотеке.
Оба – служащие (а думали, что поэты).
Два бобыля (а думали, что возлюбленные).
Два непритворных больных, бредущих
по темной дороге в тоскливый ад,
как воробей у Катулла. Два воробья —
вот кем они были, оказывается!
Две взъерошенных птицы – одна кривая,
другая безумная.
Птицы не сходят с ума,
только люди, которые
превращаются в птиц,

Филомела без языка и
Прокна, убившая сына,
стали ласточкой и соловьем.
Во время одного посещения
Гнедич наклонился над другом,
и тот шепнул ему по секрету,
что, мол, сойти с ума – это и значит:
превратиться в птицу,
и кивнул на окно: слышишь их голоса
в кроне дерева? Они говорят по-гречески.
Гнедич был вынужден согласиться,
чтоб не тревожить больного.
Потом он шел домой.
Солнце уже заходило.
Боги, должно быть, пировали весь день.
Аполлон играл им на лире,
музы пели в два голоса.
Затем они разошлись по чертогам,
что им построил Гефест,

и покоились радостным сном
бессмертных.

ПЕСНЬ ВТОРАЯ

Он плохо спал
в тишине амброзической ночи,
просыпался и думал:
почему бы ей не присниться?
Были только бесконечные коридоры,
закоулки, люстры, кулуары,
гримерные, пыльный занавес, декорации,
пустой зал и откуда-то с улицы – шум рукоплесканий.
И во сне он понимал, что должно быть наоборот,
что все поменялось местами, но не задерживался,
а продолжал искать ее между бархатных кресел,
искусственных гор, домов и деревьев,

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.